

Н. В. Суржикова
Россия, Екатеринбург

Военный плен в России и СССР в годы Первой и Второй мировых войн: проблема компаративного исследования

Вплоть до конца XX в. продиктованная политико-идеологическими императивами установка на стерилизацию прошлого страны превратила военный плен в маргинальную тему, имевшую негативную маркировку в общественном сознании и надолго исключенную из поля зрения профессиональных историков. Лишь прошедшее двадцатилетие, ставшее временем открытия целого ряда ранее заповедных страниц отечественной истории, «реабилитировало» и актуализировало эту проблематику. Рассматривавшаяся до того как побочная или не рассматривавшаяся вовсе, сегодня она активно исследуется, причем в самой широчайшей ретроспективе, – начиная со времен Северной войны и заканчивая периодом Второй мировой¹. При этом по названию большинства изданных в последнее время работ можно предположить, что в эпицентре исследовательского интереса стабильно пребывают прежде всего военнопленные с их опытом адаптации, интеграции и даже натурализации в России/СССР, что, однако, опровергает контент подавляющей части специальных публикаций. Они при очевидной объектной модальности пленных посвящены *par excellence* обстоятельствам их вынужденного пребывания в России/СССР, т. е. в большей степени плену, нежели собственно военнопленным. Анализ литературы обнаруживает, что у каждого автора,

¹ Библиографию темы см. в подстрочнике работы: *Суржикова Н. В. Проблемы иностранного военного плена в новейшей отечественной историографии // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития : материалы Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 2008. С. 474–481.*

© Суржикова Н. В., 2010

по-видимому, есть какое-то свое интуитивное понимание того, что такое плен и кто такие пленные, – понимание, которое превращает терминологическую разметку исследовательского поля в необязательную. Иллюзия очевидности изучаемого предмета, однако, не снимает вопроса о концептуальной рамке исследования, задаваемой в том числе и пакетным набором понятийных определений.

Что же такое плен и кто такие военнопленные? Полагаю, что в поисках ответа на этот вопрос позволительно апеллировать к известному благодаря социологам приему исследовать норму по ее отклонениям. Если рассматривать военный плен как атрибутивно значимый фактор для «мужской», сугубо героической отечественной истории, то к числу наиболее экстремальных вариативов плена, вне всякого сомнения, следует отнести опыт Первой и Второй мировых войн. Беспрецедентно массовый и радикальный плен Первой и Второй мировых войн не просто отразил тенденцию тотализации войны как таковой, но и зримо обособился, перерос из просто закономерного следствия войны в нечто большее, возмевшее свои собственные последствия². В случае с Первой мировой войной они были одними, в случае со Второй мировой войной – другими.

Частные, ситуативные отличия в практике плена Первой и Второй мировых войн, обусловленные спецификой конкретно-исторического момента, наслаивались на уже накопленный в этой области опыт, не только его инвертируя, но и консервируя. Поэтому сопоставительный анализ плена Первой и Второй мировых войн может рассматриваться как важное условие для конкретизации или рафинирования представлений о плене как таковом, о процессах его инструментализации и универсализации.

Поскольку познание социальной реальности невозможно без логического инструментария, прежде чем перейти к сопоставительным процедурам опыта плена Первой и Второй мировых войн, следует обозначить некие предиспозиции принципиального свойства, сопряженные с ответом на ряд далеко не праздных вопросов: возможно ли такое сравнение вообще, каковы должны быть его параметры, что и как здесь сравнивать?

Отвечая на первый из поставленных вопросов, в первую очередь поспешу отмежеваться от бытующего до сих пор мнения о том, что

² К числу таковых, к примеру, можно смело отнести вовлечение пленных Первой мировой войны в Гражданскую войну в России и затем в строительство «светлого социалистического будущего». Другой пример – антифашистское движение пленных Второй мировой войны и их сознательное участие в создании государственных институтов ГДР.

советская эпоха была неким недоразумением в отечественной истории, – мнения, предполагающего, очевидно, и то, что плен российский и советский – явления слишком разные, чтобы их сравнивать. Вслед за большинством западных исследователей, в частности вслед за английским историком Кэтрин Меридейл, позволю себе предположить, что советская эпоха отнюдь не была из ниоткуда свалившимся на Россию несчастьем³. Она – советская эпоха – была генетически связана с традициями старой России, с ее патерналистским идеалом взаимоотношений государства и общества, с господством и культивацией коммуитаристских, т. е. традиционных ценностей, с позиционированием государства и его интересов как главных в экономической жизни страны с вытекающим отсюда креном в пользу развития экономики госсектора. Актуальным для советского государства было и то наследство, которое оно получило от имперской России в части устройства пенитенциарной системы, и в частности практики, связанные с решением участи вражеских военнопленных. Здесь уместно процитировать американского историка, специалиста по ГУЛАГу Энн Эпплбаум: «ГУЛАГу предшествовали каторжные команды, которые действовали в Сибири с XVII до начала XX в. Соответствующую новому времени (modern) форму ГУЛАГ принял сразу после русской революции и стал неотъемлемой частью советской системы... ГУЛАГ не упал с неба сразу в готовом виде, он, скорее, отражал нормы, принятые в окружающем обществе... В мировую войну обе враждующие стороны по всей Европе с 1914 г. создавали лагеря для интернированных и военнопленных... По сути, некоторые из первых советских лагерей были сооружены на смену лагерям для военнопленных Первой мировой войны»⁴.

Предложенная Э. Эпплбаум логика типизации несимметричных с точки зрения «эпохальных» рамок, а потому, казалось бы, несопоставимых пенитенциарных «историй» представляется убедительной еще и потому, что плен Первой и плен Второй мировых войн, вмещающиеся в 50-летний временной отрезок, с точки зрения политически беспристрастной хронологии не являются такими уж далекими друг друга событиями. О возможности их рассмотрения в модусе единого или, как минимум, схожего говорит и весьма популярная среди специалистов метафора Эрика Хобсбаума, предложившего рассматривать период с

³ Merridale C. *Steinerne Nächte. Leiden und Sterben in Russland*. München, 2001. P. 21.

⁴ Applebaum A. *GULAG : A History*. L., 2003. P. XV, XXVII, XXXIII.

1914 г. до конца 1940-х гг. как целостность, а именно как «эпоху катастроф»⁵.

Признавая за пленом Первой и Второй мировых войн общую природу, остается только выявить степень их родства. Однако алгоритм действий, направленных на разрешение этой задачи, не очевиден. Метод деконтекстуализации, «выдергивания» отдельных фактов из истории плена и военнопленных Первой мировой войны и поиск их аналогов в событиях середины XX в. – занятие, бесспорно, увлекательное, но опасное. Действуя в традиционном позитивистском ключе, можно зайти слишком далеко и захлебнуться в деталях, которые сложно будет агрегировать, ведь, как известно, чем больше пазлов, тем сложнее сложить картинку.

Полагаю, что как рабочая в данном случае может быть использована исследовательская стратегия, базирующаяся на позиционировании плена как социального, а где-то и как социокультурного института. При этом вслед за Эмилем Дюркгеймом следует отталкиваться прежде всего от идеи позитивности социальных/общественных/культурных институтов, являющихся кирпичиками любого более или менее рационально организованного общества, элементами, обеспечивающими баланс, стабильность и, проще говоря, порядок в обществе.

Рассуждая в русле классической институциональной социологии, созданной Огюстом Контом, Гербертом Спенсером, уже упомянутым Эмилем Дюркгеймом и др., плен Первой и плен Второй мировых войн, как и любой другой социальный институт, надо рассматривать как конструкт, обладавший определенным набором составных элементов, выступавших в более или менее оформленном виде. В этом смысле плен являл собой особую предметную сферу или сферу опредмечивания соответствующих процессов. Лагерь, спецгоспиталь и даже кладбище для военнопленных как раз и составляли тот набор «вещей», которые Э. Дюркгейм предлагал рассматривать как следы определенных социальных действия и противодействий.

Вместе с тем, наряду с «вещными», конструктивными признаками плена, принципиальное значение имеет его функциональная трактовка, поскольку «всякий социальный институт складывается как выполняющая определенные функции устойчивая структура социальных действий»⁶.

⁵ См.: *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей : Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004.

⁶ *Гавра Д. П.* Понятие социального института // *Регион : Экономика, политика, идеология.* 1999. № 4–5. С. 21.

Эмпирические наработки по истории взятых в отдельности плена Первой и плена Второй мировых войн уже на старте исследования позволяют квалифицировать плен как институт, выполнявший, как минимум, три функции: режимную, экономическую и политико-идеологическую (или манипулятивно-идеологическую). Однако, идентифицируя плен Первой и Второй мировых войн как вполне состоявшийся в функциональном плане, необходимо, конечно, учитывать, что в каждом конкретном случае институциональная среда плена характеризовалась лишь относительной устойчивостью. Такой посыл дает возможность продуктивно анализировать способы взаимодействия военного плена как социального института с другими социальными институтами, способы и степень его влияния на них. Иначе говоря, через изучение диалектики плена можно приблизиться к оценке гибкости и/или устойчивости, открытости и готовности к трансформациям тех или иных структур, устоев и практик, бытовавших в предреволюционной и пореволюционной России, в военном и послевоенном СССР.

Как представляется, ретроспективный подход олицетворяет собой взгляд на военный плен Первой и Второй мировых войн из удаленной перспективы – взгляд «снаружи», а еще точнее – «сверху». Отдав предпочтение такой логике исследования, вероятен риск получить в сухом остатке далеко не полное представление о реалиях военного плена – представление изрядно эстетизированное. За скобками при этом окажутся артефакты, не вписывающиеся в структурно-функциональную гипотезу и, кроме того, «потеряются» живые люди, для которых история плена была частью их личной истории.

Альтернативой пониманию плена как социального института видится его номинирование как особого пространства или поля. И рамки его, что характерно, будут заключать не только пленных, но и всевозможные власти – военные и гражданские, центральные и местные, светские и духовные, а также горожан, заводчан, селян, красных и белых, Красный Крест, Московский комитет помощи военнопленным, Съезд горнопромышленников Урала, Всероссийский союз земств и городов и другие организации, учреждения, ведомства, структуры, элиты и т. д., и т. п. История плена Первой и Второй мировых войн, изучаемая с таких позиций, – это история с богатым набором персонажей, героев, действующих лиц, актеров и игроков. Их список практически необозрим, поскольку любой так или иначе включенный в пространство плена индивид превращается в исторического актора. Наиболее важным в ходе сравнительного анализа плена Первой и Второй мировых войн при этом следует считать

вопрос о пространственных параметрах плена, которые можно оценить лишь при условии ответа на другой вопрос: почему те или иные люди или группы людей оказались причастны к истории плена, каковы их мотивы и интересы, опасения и надежды, способы групповой и межгрупповой коммуникации, реализовывавшиеся в пространстве плена, которое они сообща строили и перестраивали, кто-то творя историю, а кто-то ее претерпевающая?

Корреспондируя с неоинституционализмом Дугласа Норта (и неоинституционализмом вообще⁷), в рамках которого как институты трактуются не только корпорации, организации, учреждения, но и некие универсальные правила игры, принятые в том или ином пространстве, состав и расстановка игроков, настоящий подход объясняет если не все, то многие противоречия плена. Он наглядно демонстрирует, как при взаимодействии множества людей и структур, преследовавших собственные цели, формируются самые разные – вплоть до взаимоисключающих – «образцы» плена Первой и Второй мировых войн, как постепенно меняются его институциональные траектории, какими издержками процесс институциональных изменений оборачивается для разных участников и «команд» участников исследуемых исторических событий. Тем самым достигается эффект заполнения вакуума, который неизбежно возникает при оперировании стандартными моделями понимания институционализма. Пренебрегая деталями, можно сказать, что неоинституциональная перспектива иммунизирует представления о плене Первой и Второй мировых войн от примитивизации, экспонируя как его «надводную» часть в виде формальных институтов, так и «подводную», представленную неявными неформальными контактами и контрактами.

В позиционировании плена Первой и Второй мировых войн как особого пространства, бесспорно, улавливаются созвучия с еще одной исследовательской концепцией, а именно с концепцией социальных пространств, полей и практик, предложенной Пьером Бурдьё⁸. Ставшая классической, теория П. Бурдьё применительно к плену Первой и Второй мировых войн позволяет говорить о нем не столько как о монолитном пространстве, сколько как о совокупности подмножества пространств или поле отношений, с расстановкой сил в котором так или иначе свя-

⁷ Подробнее об этом см.: Неоинституционализм : справка / подгот. Р. Капелюшников // Отечественные записки. 2004. № 6. С. 82–87.

⁸ Подробнее об этом см.: Бурдьё П. Социология социального пространства. СПб., 2005.

заны и считаются всевозможные герои, или различные агенты и группы агентов военного плена. Опираясь на Бурдые же, можно трактовать плен Первой и Второй мировых войн как географическое пространство или ландшафт, разделенный на регионы. Проблема, однако, заключается в том, что эти регионы могли взаимодействовать, находясь на удаленном друг от друга расстоянии, и взаимодействие это могло носить не только двусторонний, но и многосторонний характер.

Представляется, что применительно к плену Первой и Второй мировых войн на роль примиряющей для подхода Д. Норта и П. Бурдые метафоры больше всего подходит метафора сцены, которая объясняет, действительно, многое. Через ее призму плен Первой и Второй мировых войн предстает как многоактная историческая драма или спектакль, разыгрывающийся на фоне смены исторических декораций (Февральская революция, Гражданская война, коренной перелом во Второй мировой войне, начало «холодной войны» и т. д.). При этом занятые в спектакле актеры, меняя костюмы и грим, исполняют разные роли: сегодня все они просто пленные, завтра – «красные», «белые» или наблюдатели (имеется в виду плен Первой мировой войны) или же военные преступники (Вторая мировая война). Чудесные превращения военнопленных, их переход из одного качественного состояния в другое объясняют многосложность, многофакторность, многоаспектность, многозначность плена в целом, во всем многообразии его проявлений. Мысля плен Первой и Второй мировых войн в обозначенных выше категориях пространства, поля или сцены, в ходе его исследования можно продуктивно использовать даже невалидные данные – данные случайные или косвенные, а также отрывки и обрывки сведений и исторических свидетельств. Их привлечение, в свою очередь, позволит представить «измеряемые» качества плена и военнопленных Первой и Второй мировых войн не только закономерностями и типическими корреляциями, но и показателями, выходящими за скобки общей суммы аналоговых характеристик. Проблема общего и особенного, единичного и множественного, постоянных и переменных в пространстве плена Первой и плена Второй мировых, таким образом, может решаться не только из перспективы удаленного наблюдателя, но и из перспективы участников как заметных, так и ничем не выделяющихся. При этом в фокусе внимания исследователя закономерно встает вопрос об общем и особенном в стратегиях социализации пленных в России в 1914–1922 гг. и в СССР в 1941–1956 гг., ответ на который будет ключевым при вскрытии причин различной модальности пленных Первой и Второй мировых войн. Только таким образом можно приблизиться к раз-

гадке проблемы, почему же пленные, оказавшиеся в России в результате Первой мировой войны, смогли адаптироваться и впоследствии даже натурализоваться в инокультурной среде, в то время как пленные в СССР в подавляющем большинстве не смогли справиться даже со стрессом аккультурации или культурным шоком⁹. Иначе говоря, только так можно понять, почему плен Второй мировой войны в основном бытиен, биологически детерминирован и в чем-то даже асоциален¹⁰, в то время как плен Первой мировой войны стал для его агентов альтернативной возможностью реализации и самореализации.

⁹ Подробнее об этом см.: *Суржикова Н. В.* Свидетели или участники? : Военнопленные Первой мировой войны в Уральском регионе в 1914–1917 гг. // Материалы межрегион. науч.-практ. конф. «Административно-территориальные реформы в России. К 225-летию учреждения Пермского наместничества». Пермь, 2006. С. 183–186; *Она же.* «Мы были в шоке» : Советский плен и интернирование как стресс аккультурации // *Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. История России.* 2009. № 3. С. 132–143.

¹⁰ Неслучайно в дискуссиях о морфологии плена Второй мировой войны появилась метафора неолитизации социальных отношений, т. е. их практически всеохватной деградации.